**Ю.В. МАНН. БАЗАРОВ И ДРУГИЕ**

Если обратиться к типологии литературных персонажей середины XIX века, налицо выдвижение на авансцену значительных, незаурядных героев типа Базарова. То, что Базаров отрицает “всё” в современной ему русской жизни, то есть является сторонником полной и бескомпромиссной революционности, это в романе заявлено ясно. Но ведь изолированной идеи революционности не бывает. Революционность всегда связана с представлениями об определенном ряде мер, шагов, конкретных сил… Обнаружить такую конкретность у Базарова — дело нелегкое. (…) Вглядываясь в Базарова непредвзято, никак не можешь понять, например, каким образом его революционность могла бы перейти в дело… (…) Между тем в размышлениях о Базарове все более явственно встают два вопроса. Что он делал в прошлом помимо того, что учился в медико-хирургической академии? И что он намерен делать завтра помимо того, что будет сдавать на доктора и служить на поприще медицины? Вокруг этой темы кружат и реплики Павла Петровича, и Одинцовой, и отца Базарова. Кажется, вот-вот Базаров раскроется и интригующая тайна будет снята. Но Базаров упорно молчит или отделывается общими словами, а его друг Аркадий дать за него полного ответа не может.

Тургенев хотел изобразить в Базарове героя времени, «выраженье новейшей нашей современности» [письмо к Достоевскому от 30 октября (11 ноября) 1861 г.]. Он по свойству своего таланта отправлялся от конкретных лиц и фактов. Но это вовсе не значит, что он стремился к фотографическому, или, как тогда говорили, дагерротипному, отражению характера…. Пора уже, кажется, оставить придирчивые сопоставления Базарова с Чернышевским, Добролюбовым или любым другим реальным лицом. Мы видели, что во многом образ Базарова с революционными демократами просто не соотносится… Именно Тургенев принадлежал к тем, кто не верил в общину, в социалистический дух крестьянина, в революционную пропаганду и т. д., и, считая такое неверие признаком политической трезвости и проницательности, он сполна наделил им своего героя. Словом, образ Базарова, составляющие его элементы кажутся таинственным кодом, ключ к которому потерян. (…)

…Собственно, тайна жизненности больших произведений всегда состоит в их «многослойности». Известно, что «Отцы и дети» захватили умы современников, как ни одно другое произведение Тургенева. На то имелись, конечно, свои основания. Многое в романе было выхвачено живьем из кипящих, бурных «шестидесятых годов». Чего стоила одна только мысль столкнуть лекарского сына, бедняка, плебея с множеством помещиков и дворян — людей различных характеров, взглядов, идей и т. д. Злободневная сторона романа слишком хорошо известна, чтобы на ней надо было останавливаться подробно. В то же время эта злободневность сложнее, чем часто еще считается, за нею — другие пласты романа. Слово, которое отвечает на веяния времени,— особенно если это слово художника — рождается не в один день: его исподволь формируют время и традиции.  
Начнем с того, что задолго до Тургенева в искусстве наметилось противопоставление двух типов людей по признаку отношения к действительности. С одной стороны, человек реалистического склада, чуждый самообольщений и иллюзий. С другой — идеалист и энтузиаст.

*Они сошлись. Волна и камень,  
Стихи и проза, лед и пламень  
Не столь различны меж собой,—*

говорилось о Ленском и Онегине, в которых немецкий писатель, переводчик русской литературы Фарнгаген фон Энзе видел двойственность человеческой природы вообще и две стороны образа самого поэта. (…) Однако начиная со второй половины 40-х годов антитеза резко заостряется под влиянием конкретного, живого вопроса, который занимает русское общество. Вопросом этим является «дело» и приспособленность к нему каждого из двух противоположных типов. …Что лучше, узкое дело или многосторонняя бездеятельность?.. Своеобразным итогом подобных исканий и размышлений явилась речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенная в январе 1860 года, незадолго до начала работы над «Отцами и детьми». Тургенев выбрал двух героев мировой литературы, так как в них «воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится». В общем-то, можно сказать, что Тургенев исходит из традиционного разграничения трезвого человека и человека экстремы[[1]](#footnote-1). Но это разграничение проведено с небывалым еще упором на «дело». Писатель, например, спрашивает: «Что нужды, что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон-Кихот нападает на полезные ветряные мельницы... Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование».

Не нужно подробно объяснять (это, в общем-то, известно), как воспринимались тургеневские размышления о Дон Кихоте людьми «шестидесятых годов». Несмотря на то что оба типа обрисованы как равно необходимые и дополняющие друг друга, Дон Кихот в своей реальной функции был особенно актуален. Именно в Дон Кихоте виделось то начало движения и воли, в которых так нуждались передовые русские люди, прошедшие через философские искания, рефлексию, мучительные колебания и неверие в свои силы. (…) И вот явился Базаров.

Вы вглядываетесь в Базарова… и поражаетесь: какое же он необычное, сложное явление! С одной стороны, идея дела организует важнейшие центры базаровской психики… Базаров засучивает рукава, готовится к драке, к борьбе. Он и поэзию, и «художества» отвергает по тем же мотивам: от них не дождешься ощутимого эффекта, они бесполезны. Но с другой стороны... Тургенев отмечает, что люди донкихотского типа живут «вне себя, для других», они бескорыстны до забвения собственных интересов и личности. Для Базарова вопрос о том, достойны ли другие затрачиваемых им сил, — не праздный, и с болью шевелится в нем сомнение: стоит ли еще лезть из кожи ради какого-то «Филиппа или Сидора», который даже спасибо ему не скажет. (…) Сомнения в правильности выбранных средств свойственны Гамлету, а не Дон Кихоту. Но что такое базаровский скепсис по отношению к общине, к мужику, к крестьянскому быту, к пропаганде и т. д., как не прогрессирующее хроническое сомнение?.. Если хотите, это гамлетизирующий Дон Кихот — сочетание необычное и в старом смысле ненормальное. Понадобились необычайные обстоятельства, чтобы его вызвать. Как аномалия стрелки компаса указывает на приближение к магнитному полю, так и смешение устойчивых, освещенных мировой традицией психологических категорий говорит о том, что тургеневский герой времени, «человек дела», вступил в полосу кризиса.  
  
Что же произошло? Вдумаемся в следующую особенность Дон Кихота: он воплощает в себе «веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся **вне** отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы». Слово «вне» выделено писателем. Дело требует от Дон Кихота служения и жертв, но дано ему извне. Человек не вырабатывает в себе веры, он приобщается к ней. Поэтому возможно «постоянство служения». Мир в основе своей разумен, хотя в нем и сильны неразумные силы… Не следует думать, что всё это касалось лишь специальных философских вопросов. Вот лишь один пример из множества подобных. Станкевич сообщал в одном из писем: «Марков (русский художник, проживавший в Риме.— *Ю. М.)* был на днях у меня и закидал меня философскими вопросами и сомнениями, на которые было ему трудно отвечать... Я никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего. Но его требования не эгоистические — нет! существование одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы. Тут трудно отвечать что-нибудь, тут помогает характер, помогает невольная вера, основанная на знании разумного начала».   
И едва ли можно понять все значение базаровской вражды к романтизму, если не учесть следующий характерный сдвиг. Для Базарова истинное знание враждебно и романтизму, и указанной философии, вместе взятым. (…) И науки им признаются только конкретные, а не науки вообще, какою претендовала быть философия. Тут, пожалуй, мы приближаемся к сердцевине его мироощущения. (…)

Новизна мироощущения Базарова ярко выступила в его восприятии природы. В великих философских системах человек объединен с природой единством законов развития. Человек не противостоит природе, между ними существуют близкие, доверительные отношения, высокий пример которых явил Гёте:

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.

Для Базарова же произошло отпадение человека от природы. Вот его знаменитые слова из XXI главы: «...я думаю, я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие!..» Природа к человеку ни добра, ни враждебна — она равнодушна. Природа и человек — величины несоизмеримые и несопрягаемые. (…) Острота восприятия «равнодушной природы» состоит здесь в том, что в ней уже не признается мировой разум.

На это могут возразить, что базаровские слова произнесены в состоянии депрессии, после объяснения с Одинцовой. Но что такое его всем известный афоризм: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», — как на выражение того же мироощущения? Природа уже не «мировая душа» (какою она была и осталась для черпающего в ней утешения Николая Петровича) — это скорее скопище отчужденных и мертвых предметов, противостоящих человеку. Человек должен их покорить и поставить себе на службу.

Базаров ощущает себя один на один с природой. Он на краю бездны, которая «ежеминутно под ним разверзнуться может». Все остальные люди словно не в счет. В этих условиях у него нет более верного средства проверить свою силу, чем предъявить все свои права.

Создалась новая, необычайно напряженная ситуация — назовем ее философской, помня, однако, об условности этого понятия. С одной стороны, преодоление универсальности *(под «универсаль-ностью» здесь понимается наличие в мире разумного начала, иными словами –Бога-творца – Н.А.)* необычайно развязало волю человека, его творческую жизнеспособность. Но с другой — оно наполнило его новыми, неведомыми еще сомнениями. Каков реальный объем человеческой свободы? Что регулирует отношения людей друг к другу в новом, распавшемся мире? Эти и другие вопросы со всей силой будут поставлены Достоевским и другими писателями. В тургеневском романе они еще не дифференцированы и тем более не нашли своих ответов. В «Отцах и детях» схвачен самый *момент перелома.*  Увы, человек требовательнее Бога. На изменение ситуации Базаров ответил — и в этом его главное отличие — бесконечной, прогрессирующей требовательностью. Но от этой же необычной ситуации — волны пессимизма и безверия, которые порою захлестывают и Базарова. «Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах... и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...» Подтекст этого сетования ясен: у родителей хоть какая, а есть цель, у него же ее нет.

Базаров сомневается в разумности мироздания, но в возможностях разума как силы, познающего и преобразующего жизнь, он не сомневается. Он только уклоняется от конкретных ответов, держа их в тайне. В «Отцах и детях» перспектива развития не оборвана, оставлены в силе различные возможности… но то, что описанная ситуация промежуточная и удержаться навсегда на ней невозможно, в романе заявлено ясно. Понимает это и Базаров. У него чешутся руки, он грозится ломать других. Пока же он ломает в основном себя («Наш брат, самоломаный»,— говорит он). Вероятно, будущая ситуация потребует уже не Базаровых. Сила же Базарова — в безграничных требованиях, которые он предъявляет к другим и к себе. Вернее, к себе и к другим.  
«Решился всё косить — валяй и себя по ногам!» — высший принцип базаровской этики. (…) Повторение Базарова — это карикатура, Ситников, в лучшем случае это Аркадий. По самому существу своих безграничных стремлений Базаров должен быть один. Да, Базаров — максималист. Качество, отличавшее людей романтического типа, неисправимых мечтателей, энтузиастов, тесно соединилось с его вполне трезвым отношением к жизни и к делу. На почву реальности Базаров перенес неутолимую жажду совершенствования. «...Удовлетворить Базарова,— отмечал Писарев,— могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности». Целая вечность! Где же ее взять на нашей ограниченной земле, в мире относительных ценностей? «К несчастию для себя,— продолжает Писарев,— Базаров не признает вечного существования человеческой личности».

…У больших произведений искусства есть интересная особенность: в коллизии, лежащей в их основе, всегда «запрятана» другая коллизия, в последней — еще одна, и т. д. Время, углубляя произведение, открывает в нем внутри одной поэтической возможности — новую.  
Простейшая мысль, к которой подводил тургеневский роман,— будто в нем дано столкновение поколений, отцов и детей, людей разного возрастного и культурного типа. Внутри этого конфликта увидели более острый и для произведения более оправданный — конфликт плебея и аристократов. Но и этим не исчерпывается всё богатство содержания романа. В глубине его мы явственно различаем большую философскую проблему, и конфликт Базарова с окружающими исполнен высшего значения. Эпитет «сатанинский», брошенный Павлом Петровичем, не пустой по отношению к Базарову. Базарову выпала доля пережить начальную стадию нового и, вероятно, самого мучительного вида отпадения — отпадения от мира, в котором уже нет Бога.

Давно известно, что отношение героя к любви и смерти открывает его важнейшие черты. Остановимся и мы на любви и смерти Базарова: в них выражается философское значение этого образа.  
Базаров любит безответно; безответная любовь написана ему на роду. Предположим, что Одинцова ответила бы на его чувства: Базаров в роли возлюбленного, счастливого мужа — мыслимая ли это картина?.. Предположим невероятное. Одинцова не только полюбила Базарова, но и готова разделить его заботы, взяться за то же дело. Очень была бы достойная картина, если бы... если бы Базаров знал сам, на каком деле он остановится. Байрон, кажется, говорил: чтобы стать поэтом, надо бедствовать или пережить несчастливую любовь. Чтобы остаться максималистом, Базаров должен был полюбить безответно.  
(…) Точно так же и смерть в новой ситуации переживается острее и трагичнее. Для человека, видящего высший смысл своей краткой жизни, удары судьбы оправданны. (…) Именно поэтому смерть Базарова должна была быть от случайной причины. В ней некого винить, кроме своей собственной небрежности. Она ничем не искупалась — ни высокой жертвой, ни интересами «дела», к которому готовился Базаров. Это испытание смертью в самом прямом и чистом значении этого слова.  
Базаров не мог черпать утешения в… личном бессмертии. Человеческая жизнь — искра, которая взлетела над потоком и в него бесследно канет. Думать по-другому — значит впадать в «романтизм». До сих пор Базаров понимал эту истину «теоретически», в общем виде. Теперь ему предстояло испытать ее на своей шкуре. Ибо хорошо известно: одно дело не верить в «принципы», когда ты здоров, силен, и другое — когда обстоятельства складываются круто. Многие сильные умы в этой ситуации ломались и находили утешение в мистицизме и религии (и Базарову, как нарочно, предоставляется такая возможность, но он ее отвергает). Если же не в религии, то по крайней мере в самообмане, в надеждах. Базаров отвергает и эту возможность. Где же ему почерпнуть мужества? Только в себе самом, в бестрепетно ясном взгляде правде в глаза. И в последний момент он говорит: «До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить!», «Всё равно: вилять хвостом не стану».  
В одном из произведений Тургенев писал, перефразируя Паскаля: если бы целая вселенная раздавила человека, он был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала». Утешение, конечно, слабое, но Базаров обнаружил нечто большее, чем знание,— стойкость. До конца не отступился он от своего гордого «нет!», сказанного и перед лицом «вселенной», и перед бездной, которая его поглотила. А всё же есть в смерти Базарова примиряющий элемент… Вообще трудно назвать другого писателя, у которого бы так часто произведения оканчивались смертью героя и эта смерть была бы так значима. (…) Смерть Базарова оправдана по-своему. Как в любви нельзя было доводить Базарова до «тишины блаженства, тишины невозмутимой пристани», так и в его предполагаемом деле он должен был остаться на уровне еще не реализуемых, вынашиваемых и потому безграничных стремлений. Базаров должен был умереть, чтобы остаться Базаровым.

(Манн Юрий «Диалектика художественного образа»)

1. **экстрема** — **extrême** (устаревшее слово). Крайность, крайняя степень проявления чего-либо [↑](#footnote-ref-1)